

Д.Н. МАМИН  
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

## **Инфлуэнца**

# Содержание

|          |       |
|----------|-------|
| I.....   | .0005 |
| II.....  | .0011 |
| III..... | .0018 |

# ИНФЛУЭНЦА

## *Монолог*

Самое смешное слово, какое мне известно,— это дама... Да. Я не могу удержаться от смеха каждый раз, когда его слышу, потому что дама — это я. Не правда ли, как это забавно? Давно ли я ходила в коротеньких платьицах и все называли меня Зиночкой, потом, в гимназии, я превратилась в Зинаиду Ремезову, а сейчас я — Зинаида Васильевна Книзева,— одним словом, постепенное превращение из гусеницы в бабочку. Я еще и сейчас попадаюсь иногда впросак, если встречаю кого-нибудь незнакомого: раз пять делала реверансы... Это я-то, Зинаида Васильевна!.. Ведь дамы не делают реверансов, и я ужасно краснею, особенно если виновник моего дамского положения налицо... Сеня ужасно смеется надо мной в таких случаях, и я чувствую, что начинаю ненавидеть его. Ведь это глупо мечтать, что именно благодаря ему я удостоилась такого титула: m-me Книзева. Если я его люблю, так это еще не дает права думать о себе так много.

— Милая моя дама, сделайте реверанс! —

смеется он.

Какое самообольщение! Точно я не могла сделаться дамой благодаря какому-нибудь Низеву, Изеву и т. д. Мужчины не понимают и никогда не поймут, сколько обидного в этой невинной комбинации, потому что всегда думают только о себе и во всем видят только самих себя. По моему мнению, это зависит просто от грубости мужской природы, в чем я убедилась личным опытом. Мужчины просто притворяются, когда приходят в восторг от стихов, восхищаются чудной картиной природы или повторяют глупые нежности любимой женщине. Я это наверное знаю, я убеждена в этом глубоко. Что такое мужчина? Грубый реалист, для которого нет ничего святого, печальная необходимость, с которой роковым образом связала женщин мачеха-природа, и вообще, говоря откровенно, самое грубое животное... Позвольте, я, кажется, впадаю в пессимизм, а это совсем нейдет ко мне, как уверяет Сеня. Заметьте, какое вульгарное имя: Сеня. Оно меня сначала приводило в полное отчаяние, потому что не поддавалось никаким ласковым уменьшительным — Се-

ня, Сенечка, и только. Попробуйте поместить такое имя в любовное стихотворение, и вам захохочут в лицо. Я даже не могла привыкнуть к этому вульгарному звуку, пока не родился мой первенец Вадим, и теперь я представляю моего мужа так: папа моего Вадима.

— Семен Семеныч Книзев,— рекомендуется муж уже сам.

Для меня муж сейчас больше всего отец моего Вадима. Да... Отец и мать — вот святые слова, ради которых прощаешь даже грубость мужчин и несправедливость природы.

Все, что я сейчас говорила, к делу не относится и сорвалось так, между прочим, а *propos des bottes*[1] Лучше всего, если все это останется между нами... Не правда ли? Разве вы можете отказать просьбе дамы?..

Итак, я дама, я жена, я мать, а со временем буду, несомненно, бабушкой и, таким образом, завершу тот роковой круг, который начертила рука природы. В скобках: Сеня не выносит подобных фигуральных выражений, как «рука природы», разве есть у природы руки? Должна признаться, что раньше я смотрела на жизнь довольно легкомысленно, как и

всякая другая женщина на моем месте. Мне хотелось веселиться, прыгать, радоваться... Но появление Вадима сразу открыло мне существование другого мира, новых интересов и великих целей. О, милый ребенок, если бы только он знал, сколько счастья он принес с собой!.. Раньше, например, я, конечно, любила папа и татап, любила инстинктивно, но не понимала хорошенько, что значит слово «мать». Да... Нужно вынести все материнство с его болезнями, бессонными ночами и святыми заботами, чтобы оценить и понять все. Я еще никогда так не любила шатал, как в момент своего собственного материнского счастья. Милая, дорогая татап... Я стала верить ей решительно все, что происходило со мной, и как она понимала меня, как любила моего Вадима!.. Доходило до смешного, когда татап принималась ревновать меня к собственному ребенку и даже хотела отнять у меня Вадима под предлогом, что я не сумею его воспитать. Все бабушки, вероятно, одинаковы, и я от души ее пожалела: мой ребенок пробудил в ней заснувшее материнство. Вот папа — так тот совсем другое дело: он даже

подсмеивался.

— Ты, Зиночка, думаешь, что на свете только всего и есть один ребенок, что твой Вадим,— говорил он.— Успокойся... Таких ребятшек миллионы. Я недавно читал в газете, что каждую секунду где-нибудь рождается человек и каждую минуту где-нибудь другой человек умирает. Да...

Нет, уж позвольте, я не согласна: пусть родятся и умирают миллионы людей и еще раз родятся, а Вадим все-таки один, и другого такого нигде нет. Таких ребятшек миллионы — благодарю покорно... У папа скверная привычка дразнить меня, и я серьезно побранилась с ним. Но это не мешает ему быть прекрасным человеком, и другого такого папа нет, как другого Вадима. Папа и татап — образцовая супружеская чета, и я с ужасом думаю о том моменте, когда кто-нибудь из них умрет первым. Ужасно!.. Прожить целую жизнь и потерять любимого человека... Никакая заслуга, никакая жизнь не спасет от этого рокового конца, и я даже раза два плакала, когда думала, что все это должно случиться в свое время, и в свое время умрем и мы с Се-

ней, и умрет наш Вадим. Ведь жизнь, в сущности, ужасная вещь, и нас спасают от отчаяния только наши ежедневные заботы и наше легкомыслие. Когда молодые стоят под венцом, они не думают, что который-нибудь из двоих должен будет оплакивать другого. Нет, все это слишком грустно, и я не хочу об этом думать: будет то, что будет.

Через год после Вадима родилась у меня дочка Ольга. Сын да дочка — красные детки, как говорит моя нянька Петровна. Признаюсь, что второй ребенок не произвел уже такого впечатления, как первый, хотя я и желала иметь девочку. Дело в том, что наши самые лучшие, святые чувства переплетены самыми прозаическими соображениями, вроде того: а что, если каждый год новая семейная радость? Положим, Сеня ничего подобного не говорит, но это не мешает мне чувствовать недосказанную мысль. Ему и меня жаль, и средства у нас небольшие. Бедная моя девочка — она принесла с собой первую заботу. Но я чувствую себя хорошо и готова для детей идти на все. Одна татап понимает меня и несколько раз повторяла между прочим:

— Ты не беспокойся, Зиночка, мы будем помогать.

Милая татап, как она необидно умеет все сделать!.. Я начинаю ее просто боготворить. Такая добрая-добрая, милая-милая.. Папа, по обыкновению, подшучивает надо мной и го-

ворит, что нам с Сетей необходимо прочитать теорию какого-то Мальтуса. Наверно, этот Мальтус был нехороший человек, и я инстинктивно чувствую к нему отвращение. К чему тут Мальтус, когда мы так счастливы с Сеней и без него!

Одна неприятность никогда не приходит: Сенад перевели на службу в другой город. Мне это особенно больно потому, что пришлось расстаться с папа и тамап еще в первый раз. Сколько было слез, когда мы расставались... Мне было так жаль тамап, которая теперь все думает обо мне: как я, да что я, да здоровы ли дети. У меня даже есть какое-то дурное предчувствие, хотя я и не выдаю его, чтобы не показаться смешной в глазах хотя того же Сени. Показать смешной — это наш общий недуг, в жертву которому мы готовы принести все. Впрочем, я дала себе слово, что буду каждый день писать тамап хоть несколько строк. Из моих писем впоследствии составит настоящий дневник, и мне самой лет через двадцать будет интересно проверить себя по нему. Что-то будет через двадцать лет, когда Вадим и Ольга вырастут

совсем большие? Даже страшно думать об этом. Вадим будет тогда двадцати одного года, тогда как его тамап исполнится только нынешней осенью двадцать. Право, это смешно. Жаль, что тамап не может отвечать на каждое письмо: ей некогда, да она что-то и прихварывает. Папа мог бы, конечно, писать, но он вообще ненавидит писаную бумагу. У него всегда готово какое-нибудь обидное словечко, как и в данном случае. «Пожалей почтальона, который должен приносить каждый день твое письмо,— пишет он.— У бедняги, как я подозреваю, тоже есть своя семья, и благодаря твоему рвению ему не остается времени поцеловать жену». Однако как скоро бедный папа раскаялся в этих словах... Шутка вышла самая неудобная. Случилось... Нет, перо выпадает из моих рук, и я не могу написать рокового слова. Да и до сих пор я сама еще не верю случившемуся несчастью, которое просто несправедливо.

Мамап собралась в великий пост навещать меня и все откладывала свою поездку за разными недосугами. Мы не видались целых два месяца, и можете себе представить, с

каким нетерпением я ждала маман. Два раза назначался срок отъезда и два раза отменялся. Наконец получаю письмо: маман больна... Помните, что я говорила вам о предчувствии? Забираю своих ребятишек и лечу. Дорогой на меня напал какой-то страх — опять дурное предчувствие. Маман я нашла в постели. Она так изменилась, что я первую минуту ее даже не узнала. Бедняжка, чтобы успокоить меня, приветливо улыбалась... Разве мужчины способны на что-нибудь подобное?

. Нет, решительно дальше я не могу писать... Это какой-то тяжелый сон, от которого я не могу проснуться до сих пор. Неужели маман умерла на моих руках? Неужели я не услышу ее ласкового голоса? Мне и сейчас кажется, что вот-вот она войдет в комнату, обнимет меня и скажет: «Дурочка моя, все это был дурной сон!» Да, сон, от которого не просыпаются. Я не могу помириться с мыслью, что маман нет. Это так дико и нелепо, что я каждый раз вздрагиваю. Нет, она здесь, около меня, я это чувствую и в этом глубоко убеждена. Милая, дорогая, хорошая... А папа?.. Он сходил с ума и рвал на себе волосы, он гово-

рил такие ужасные вещи, от которых у меня волосы поднимались дыбом.

— За что? — повторял он, сжимая кулаки.— Почему другие женщины живут? Миллионы женщин... И как живут?! В бедности, в нищете, в разврате! Нищие живут, а она умерла... Нет, это несправедливо!..

Это было бурное мужское горе, которое не давало мне времени подумать о себе: и в самом горе мужчины остаются эгоистами. Конечно, я тогда этого не думала, а утешала отца теми жалкими словами, какие говорят в таких случаях. Он на время стихал и смотрел на меня удивленными глазами: он привык видеть во мне девочку, которая не поймет большого горя. Нужно сказать, что папа отличался некоторым эгоизмом, никогда не молился и о религии отзывался довольно свободно. Но тут он точно проснулся и заставлял меня молиться вслух: это было последнее доброе дело татап — она раскрыла в последний раз очерстневшую в житейской прозе душу. Мы тогда много и откровенно говорили с отцом, который оказался совсем не таким, каким я его представляла себе: с него точно спа-

ла какая-то кора. Он говорил со мной, как с другом.

— Да, жизнь — великая тайна, Зиночка,— повторял он, качая головой.— Мы не знаем ничего и можем только плакать...

И он плакал, горько плакал, припоминая разные мелкие случаи, когда он был несправедлив к татам: засиживался подолгу в гостях, горячился, ворчал — одним словом, все то, что делают все мужья во всех широтах и долготах. Сеня любит иногда повинтиться и раз два вернулся домой в четыре часа утра. Теперь он почувствовал угрызения совести и шепнул мне:

— Зиночка, этого никогда не будет больше.

В переводе это значило, что ведь и ты можешь умереть, как татам, и я не желаю тебя обижать. Он вообще отнесся ко мне с особенной нежностью и ухаживал за мной, как в медовый месяц. Это опять татам, все татам и везде татам... А папа просто не отходил от меня, как маленький: так и заглядывает в глаза. Вот что значит настоящее, искреннее горе, которое всех делает лучше. Перед отъездом папа отвел меня в сторону и шепнул:

— Голубчик, извини меня... Помнишь, я тогда писал тебе о твоих ежедневных письмах к матери? Как это было глупо с моей стороны, и как я жестоко наказан теперь за свое легкомыслие...

Можно представить себе отчаяние папа, когда нам пришлось расставаться с ы'им, чтобы ехать домой. Что может быть ужаснее одиночества?

— Я чувствую себя заживо погребенным,— повторял он на прощание.— У меня нет будущего... Да и для чего жить?..

Одним словом, произошла самая раздирающая сцена. Я не могла говорить от слез, и мой Сеня даже рассердился. Это вышло очень оригинально... Я не могу сочувствовать горю родного отца, как это вам понравится? Хорошо. Это была наша первая размолвка.

— Слезами все равно не поможешь,— ворчал Сеня.— Наконец, и мы с тобой когда-нибудь умрем. А вот ходить с красными глазами нехорошо. Наконец, у нас есть свои дети, для которых мы должны побереечь свое здоровье.

— А я скажу тебе на это вот что: один' греческий философ, горько оплакивал умершего друга, и друзья заметили ему так же, как сейчас это сделал ты: зачем плакать, когда слезами не поможешь? Философ ответил: «Отто-

го-то я и плачу, что ничем не верну моего умершего друга».

— Черт бы взял этих всех дураков-философов!..

— Нет, извините, это нам рассказывал в гимназии учитель истории, и мы все плакали.

— Ну, так и ваш учитель...

Прекрасная сцена, не правда ли? А мужчины спорят тем отчаяннее, чем они виноватее, так было и в данном случае. Мне тяжело вспоминать про эту первую семейную сцену, в которой вырисовывались, с одной стороны, святая любовь дочери, а с другой — чисто мужской эгоизм. Я стала даже, кажется, меньше любить моего Вадима: ведь из него со временем вырастет такой же эгоистище, как и его папа. Какой удар для материнского любящего сердца!.. Да, жизнь есть компромисс, и приходится мириться на каждом шагу с несправедливостью.

Единственным моим утешением оставались только письма к папа, бедному, одинокому папа. Говоря между нами, я даже боялась, как бы он не кончил самоубийством.

Что было де-. лать? Опять полетели ежедневные письма, но не к маме, а к нему, и я нарочно показывала каждое письмо Сене. Мне хотелось его позлить: смотри, вот как любит женское сердце!.. Папа тоже смеялся надо мной (припомните остроу о почтальоне, которому некогда поцеловать жену) и раскаялся, и мой Сеня тоже раскается, когда меня не будет на свете. Последняя мысль навела меня на самые грустные размышления. Если разобрать, так жить на свете решительно не стоит: очень уж много хлопот. Конечно, я тщательнейшим образом скрываю свой пессимизм и от папа и от Сени, но все-таки становится грустно. А время так и бежит... Давно ли, кажется, не стало маме, а между тем скоро уже год. Да, целый год... Папа отвечает мне все реже и реже, что обозначает нарастающее спокойствие: острое горе уже миновало. Наконец он совсем замолчал, что меня ужасно встревожило: целая неделя прошла, вторая, третья — нет письма. Посылаю телеграмму — отвечает, что жив и здоров и что «подробности письмом». Получаю и письмо, в котором всего несколько строк и никаких по-

дробностей: некогда — вечная мужская отговорка. Но я чувствую, что во всем этом что-нибудь кроется, и написала отцу, что очень соскучилась об нем и решила навесить его вместе со своими ребятишками, а было бы еще лучше, если бы он приехал к нам. Ответ получаю телеграммой: «Пожалуйста, не ездите и пощади себя и своих детей — у меня инфлюэнца». Вы, конечно, понимаете, что я сделала: сейчас же отправилась в дорогу, оставив детей на попечение Сени. Сама я решительно ничего не боялась, потому что долг прежде всего. Что меня удивило и огорчило перед отъездом, так это поведение мужа: он и не отговаривал меня, и не сочувствовал, и вообще держался как-то странно. Мне показалось даже, что он потихоньку от меня улыбался: это уж из рук вон! Для этого эгоиста умирающий отец кажется смешным!

Можно себе представить, с какими чувствами я ехала к папа, который сейчас составлял для меня все на свете? Может случиться, что я больше и не увижу его... Эта мысль заставила меня рискнуть, и я ехала всю ночь, чтобы не потерять напрасно ни одного часа.

Наконец вот и он, родной город, знакомые улицы, наша гимназия, театр и напротив театра наш дом. Было всего часов восемь, и я едва дозвонилась. Прислуга была новая и приняла меня, как чужую.

— Где папа? Проведите меня к нему...

— Обождите-с... Они сейчас...— бормочет какая-то вертлявая горничная.— Они сейчас... Я доложу...

Что такое? Или я с ума начинаю сходить, или эта особа сумасшедшая. Кое-как раздеваюсь в передней и прямо иду чрез гостиную в кабинет к папа, но не успела я сделать нескольких шагов, как меня точно что кольнуло в самое сердце... На кресле стояли прелестные женские туфельки, а на столе валялась бальная дамская перчатка на двенадцать пуговиц. Туфли могли предназначаться мне, но перчатка... Она, очевидно, была забыта здесь.

— Мадам, вы не беспокойтесь: они сейчас будут...— уговаривала меня горничная, наслаждавшаяся моим смущением.

Я была уничтожена, убита и не могла сказать ни одного слова. Потом все у меня точно

завертелось в глазах, и дальше я решительно ничего не помню. В голове, как маятник в часах, стучало одно слово: инфлуэнца, инфлуэнца, инфлуэнца!.. Так вот в чем дело, милый папа... В кого же и во что остается верить после этого? Ваше горе было таким же притворством, как ваша болезнь... О, я ничему, ничему, ничему не верю!.. Я переживала такое чувство, как будто сама умирала... Очнулась я только дома у себя в постели. Надо мной сидел мой собственный Сеня.

— Ну что, как ты себя чувствуешь? — с деланной заботливостью спросил он.

— А ты надеялся, что я умру?

— Зиночка... Извини меня, но я не виноват, что твой отец делает глупости: он действительно женится, и теперь, вероятно, уже женился... на семнадцатилетней девчонке... Это уж, действительно, того...

— Договаривай: что «того»?

— Болезнь... инфлуэнца

[2]

# Примечания

# 1

Ни к селу, ни к городу (франц.).

[^^^]

Первая публикация не установлена. Включен автором в состав «Си-бирских рассказов» в 1905 г. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905. Рукопись (с пометой: «10 декабря 1890 г. Екатеринбург» хранится в Свердловском областном архиве.

[^^^]